

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ  
МИР

2003

6

---

2003



### СОДЕРЖАНИЕ

ИРИНА ВАСИЛЬКОВА — Предзимнее укрывание роз, стихи	7
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ — Третье дыхание, повесть. Окончание	11
ГРИГОРИЙ КОРИН — Из осколков дней, стихи	65
МАРИНА ПАЛЕЙ — Вода и пламень, рассказ	69
БАХЫТ КЕНЖЕЕВ — Цикада в горсти, стихи	81
ВИКТОР ПАНОВ — И там жили, рассказы. Публикация А. В. Пановой	88

### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

КИРИЛЛ ЯКИМЕЦ — Окно в Америку	128
АННА АРУТЮНЯН — Стекланный занавес Америки	138

### ОПЫТЫ

ОЛЬГА НОВИКОВА — Женщина с ее проектами. Питер и поэт. Из цикла «Вымыслы»	149
---	-----

### КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Пора гасить костры	164
------------------------------------	-----

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Давид Самойлов. Из «Литературной кол-лекции»	171
--	-----

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Шеваров. Неостывшие письма	179
Дарья Рудановская. Новый век. Новая литература?	184
Леонид Дубшан. Комментарий к кустарнику	187
Михаил Эдельштейн. Серебряный век: женский взгляд	193

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	196
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	202
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	208

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	215
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	219
SUMMARY	240

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА  
С 70-ЛЕТИЕМ!**

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА,  
СТАВШЕГО СТИПЕНДИАТОМ  
АКАДЕМИИ РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ  
И РОСБАНКА!**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН

\*

## ДАВИД САМОЙЛОВ

*Из «Литературной коллекции»*

**Д**авид Самойлов, рождения 1920, вошёл в поэзию со значительным опозданием, по сути лишь со своих 40 лет. Были замедленны и следующие его сборники.

Удивительно: точный ровесник (и одноклассник) тех неистовых мифлидцев, рвавшихся сложить головы в войне за мировую революцию (1941), и близкий по возрасту младший брат тех космических копьеметателей 30-х годов — насколько же Самойлов иной. Где тот их напор? та резкость? тот порыв к переустройству России и мира? — как же с годами изменился, психологически и творчески, тип советского поэта. (Есть у Самойлова такая строка: «...я выпал, / Как пьяный из фуры, в походе великом».)

Некоторые стихи Самойлова на тему войны, как «Осень сорок первого...» (настроение в Москве в те дни, перед паникой), «Жаль мне тех, кто умирает дома...» и всеизвестные «Сороковые», — обобщённый огляд военных лет. А «Перед боем» передаёт и фронтовое ощущение.

Хотя Самойлову довелось достичь своих предельных размеров в бурную общественную эпоху в СССР, и при обострении еврейского вопроса и уходе скольких евреев в эмиграцию, — общественные темы и приметы времени не слышны в его стихах, избегаются. В сорокалетие 50 — 80-х годов он спокойно сохранился в рамках дозволяемого к печати. «Я сделал вновь поэзию игрой <...> / Да! Должное с почтеньем отдаю / Суровой музе гордости и мщенья / И даже сам порою устаю / От всеогласья и от всепрощенья. / Но всё равно пленительно мила / Игра, забава в этом мире грозном...»

Самойлов охотно признаёт: «Российский стих — гражданственность сама» («Стихи и проза»), но нисколько не отдаётся ей, а, напротив, старательно избегает. Правда, «Люблю я страну. Её мощной судьбой / Когда-то захваченный, стал я собой. / И с нею я есть. Без неё меня нет». Однако («Залив»): «Я сделал свой выбор. Я выбрал залив, / Тревоги и беды от нас отдалив...» — Напротив, Самойлов упрекает этих горячих правдолюбцев («Лёгкая сатира»): «Торопимся, борясь за справедливость, / Позабывая про стыдливость / Исконных в нас, немых основ <...> / Считаю покаянье главным делом <...> / И тут закусываем удила». — Ну, разумеется: «Кто устоял в сей жизни трудной, / Тому трубы не страшны судной / Звук безнадежный и нагой <...> / Но сладко медленное тленье / И страшны жертвенный огонь...» Да просто: «сильнее нету отравы, / Чем привязанность к бытию».

Тем не менее: «Мне выпало счастье быть русским поэтом...». И с этой страной (слова «Россия» он в лирике не употребляет) — он в моральном расчёте. Повторяя заманчивую ошибку столичных советских поэтов: «Не попрекайте хлебом меня <...> / Сам свой хлеб я сею. / Сам убираю. / Вы меня хлебом пшеничным, я вас зерном слова — / Мы друг друга кормим. / <...> Без вашего хлеба я отошаю. / Ну а вы-то — / Разве вы будете сыты хлебом да

щами / Без моего звонкого жита?» («Хлеб») — Но это — в успокоенную минуту. А в иную разберёт и сомнение: «И я подумал про искусство: / А вправду — нужно ли оно?»; и сожаление: «Зачем за жалкие слова / Я отдал всё без колебаний <...> / И вольность молодости ранней! / А лучше — взял бы я на плечи / Иную ношу наших дней: / Я, может быть, любил бы крепче, / Страдал бы слаще и сильнее». — Однако путь избран: «Уж не волнуют опасенья. / Отпущен конь, опущен меч. / И на любовь и на спасенье / Я не решусь себя обречь. / Высокой волей обуянный, / Пройду таинственной межой...» — Но в чём та таинственная межа? — «И постучусь, пришелец странный, / К себе домой, как в дом чужой».

Всё же уважение вызывает та устойчивость, с которою Самойлов сумел воздержаться от советских тем в их казённой тогда распространённости, избрал благую долю — удержался в аполитичности, сумел устоять в позиции независимого поэта. Но от этого ведущей темой его стихов стало обдуманье собственной жизни, размышление о себе. Создалась поэзия почти сплошного одиночества: из вереницы стихов, так мало населённых кем-либо, кроме самого автора, создаётся ощущение, что как будто с ним в жизни и нет рядом никого, что он весьма одинок; ещё много природы (взморье, дюны, залив — Пярну в Эстонии). Признаётся в любви к Подмоскovie. Однако: «Не увижу уже Красногорских лесов / <...> Потянуло меня на балтийский прибой / Ближе к хладному морю, / Я уже не владею своею судьбой / И с чужою не спорю».

Напряжённю, на разные лады, обдумывает он свою судьбу. В 43 года: «О, как я поздно понял, / Зачем я существую!» — Или, напротив: «Спасибо за то, что не молод / Я был, когда понял себя». Или: «Я стал самим собой, не зная, / Зачем я стал собой / <...> И понял я, что мало стою, / Поскольку счастье ремесла / Несовместимо с суетою». Чем обречённей кажется ему жизненный путь, тем настойчивей попытки осмыслить его. А к 60 годам: «Повтори, воссоздай, возверни / Жизнь мою, но острее и короче». Всё ищет Самойлов выразить некий очень глубокий смысл: «Хотелось бы по существу, / Но существо неуловимо...» Философская основа для глубокой мысли трудно состраивается: «Моя кряжёвая судьба», — а в чём же она? в чём? И — для кого ещё она кряжевая, кроме самого себя? — «Думать надо о смысле / Бытия, его свойстве», не раз убеждает он сам себя. И дальше: «Так где же начало, начало — / Ищу. И сыскать не могу». Своя сильная мысль — не находится, вертикаль мысли — не создаётся. — Тут и опаска: «Неужто всё, чего в тиши ночной / Пытливо достигает наше знание, / Есть разрушенье, а не созиданье». Да сомневается он («Красота»): «И сам господь — что знает о твореньи? / Ведь высший дар себя не узнаёт». (Весьма опрометчивое заключение.) — Вот складывается: «Усложняюсь, усложняюсь — / Усложняется душа...» Но, хотя «Слово проще, дело проще, / Смысл творенья всё сложнее». И хотя «С постепенной утратой зренья / Всё мне видится обобщённой... / Вместе с тем не могу похвастать, / Что острее зрение духа», сознаёт он.

Однако как не отметить два прорыва его сознания? Раньше ему казалось: душа — «...она парит везде / И незаметно нам её передвиженье». Но вот он узнал: «...в минуты боли / Я знаю: есть душа и где она <...> / Душа живёт под солнечным сплетеньем». И смутно догадывается: «Кто двигал нашу руку, / Когда ложились на бумаге / Полузабытые слова? / Кто отнимал у нас покой <...> / Кто пробудил ручей в овраге <...> / И кто внушил ему отваги, / Чтобы бежать и стать рекой?..»

Сквозь одиночество настойчиво постигают поэта ранняя усталость духа и мысли о смерти.

Стихи Самойлова редко передлинены, он знает меру объёма. Лучшие из них — классичны. Хотя порой он поблажает себе, допускает нарушение ритма и размера (отчего вносится некоторая раздёрганность), допускает весьма вольные рифмы (но всегда с хорошим чувством звука). К старости стих его всё более лаконичен.

Всегда искренняя интонация, вдумчивость. И неизменная скромность — никогда не заносится, как это бывает у многих поэтов.

Редко-редко ощущаешь, чтобы стих Самойлова родился из душевного порыва, толчка. Нет стихов, рвущихся из сердца. Часто стих проворачивается вхолостую, никак не увлекая за собою душу читателя. Так и стихи, которые следовало бы назвать любовными, большей частью холодны. Нет страстей, вихрей, находок, всё очень уравновешенно. (Тут выдаётся — «Пахло соломой в сарае...» и жестокая «Алёнушка».) Да и сам объясняет: «Я никогда не пребывал / В любовном иступленье Блока, / Не ведал ревности Востока, / Платок в слезах не целовал». Но вслед тому, ещё за несколькими холодными — мольба: «О господи, подай любви!» Поэтому и мало убеждает рассудительное: «А мы уже прошли сквозь белое каленье, / Теперь пора остыть и обрести закал», — как раз «белого каленья» на его 60-летнем жизненном пути нам и не проявлено. Бывает тонкая печаль («Средь шумного бала...», «Когда-нибудь...») — о неправимой разлуке, о несоединении («Баллада»). Бывают — неопределённые грёзы, через сновидения. К старости стихи всё более печальны.

В самые поздние годы постигает поэта цепочка стихов явно о семейном разладе, особенно нелёгком в таком возрасте. И здесь, от горя, прорывается глубокое чувство («Под утро», «Я вас измучил не разлукой...», «Фантазия», «Простите, милые...», «На рассвете», «Я написал стихи о нелюбви...»). Все эти стихи как бы прикрыты — и неловко — циклом «Беатриче». Неловко, потому что цикла такого по сути нет, лишь три стихотворения с назывными из Данте именами. «По окончанье этой грустной драмы / Пусть Беатриче снова просквозит». Вот в этих пробравших душу автора стихах — появляется и афористичность строк.

Пейзажные мотивы у Самойлова часты (пейзаж — из главных объектов его наблюдений): «Подмосковье», «Позднее лето», «Красная осень», «Начало зимних дней», «Перед снегом»; замечательно: «Вода устала петь, устала течь <...> / Ей хочется утратить речь, залечь / И там, где залегла, там оставаться», — но к концу этот лаконичный стих чуть передлинён.

Бывают пейзажи и городские («Стройность чувств...»). Поэт скромно признаётся: «О, как я птиц люблю весенних, / не зная их по именам. / Я горожанин. В потрясеньях / До этого ли было нам?» Вот — «Распутица. Разъезжено. Размято. / На десять дней в природу входа нет», — но игры света и запахов наблюдает зорко. А при бурях и грозе, с чувством охранённого горожанина, из-под крыши выражает стороннюю радость. — Многие пейзажные впечатления Самойлова связаны с балтийским побережьем, где он поселился на остаток своей жизни. — «Залива снежная излука...» («Пярнусские элегии»). Тут природный охват насытен душевными переменами: «Мне на свете всё едино, / Коль распался круг души», но и: «Зачем печаль? Зачем страданье, / Когда так много красоты?»; «И всё тревожит. Всё тревожно», — элегии вьются в высоком поиске.

Редки у Самойлова метафоры, но я не отношу это к недостаткам стихов. С годами его стих крепнет в лаконичности. (Однако многие стихи так и оставлены с передлинением. «Другу стихотворцу» так хочется закончить после 4-й строфы, — и зачем и куда же их девять?.. В «Расставаньи» 1-я строфа совсем не нужна ко 2-й и 3-й; избыточны 4-я и 5-я строфы и в «Химере самосохранения...». Даже в 16-строчных стихах бывает не всё сосредоточено к единому центру и смыслу, есть не подчинённые тому повисающие строки, полустроки.) Немало стихов с искусственно натягиваемой мыслью, как бы плетение звуков, рифм, строк. Немало стихов незначащих (вроде: «Завсегдатай», «Сандрильона», «Сперва сирень...», «Сад — это вовсе не природа...»), на многих так и остаётся печать искусственной сконструированности.

Но остаются в памяти, хочется отметить — «Крылья холопа», «Красота», «Бертольд Шварц», «Бессонница», «Подросток», «А если мир погибнет весь?», «За перевалом», «Дует для скрипки и альта».

Сквозь все годы Самойлов, видимо, не частил обилием стихов — и причина тут явная была та, что темы давались ему с большим трудом, иногда в долгом поиске, они как бы не сами к нему являются, а он напряжённо ищет их, и на многих его стихах так и сохраняется отпечаток этой работы: «Уж лучше на погост, / Когда томит бесстишь!.. / И, двери затворив, / Переживает автор / Моления без рифм, / Страданье без метафор». Хотя — «В нём брезжат тени тем». А «Может, без рифмы и без размера / Станут и мысли иного размера». — Напряжённо и ярко эти муки поисков выражены в стихе «Вдохновенье»: «Жду, как заваленный в забое, / Что стих пробьётся в жизнь мою <...> / Прислушиваюсь: не слышать ли, / Что пробивается ко мне <...> / Жду исступлённо и устало, / Бью в камень медленно и зло... / О, только бы оно пришло! / О, только бы не опоздало!»

Но, кажется, всё чаще соблазняет Самойлова более лёгкий путь: «Не мешай мне пить вино, / В нём таится вдохновенье <...> / Без вина судьба темна. / Угасает мой светильник»; «Допиться до стихов — / Тогда и выпить стоит...»; «Я разлюбил себя. Тоскую / От неприязни к бытию. / Клянусь и плоть свою людскую, / И душу брэнную свою». — Хотя и посылает он себе совет: «Питайся росинкою маковой», но это не серьёзно. Как явствует из многих стихов его, автор всю жизнь достаточно благополучен материально: у него и большой выбор мест жительства для медлительных наблюдений за природой, и большой досуг. И, иронически скопировав Пушкина: «Листаю жизнь свою, / Где радуясь и пью <...> / Счастливый по природе / При всяческой погоде» («Дневник»). — Так что даже иногда разрешает себе кокетливо пожелать («Весна»): «Ах, побольше печалей, / Побольше тревог!» Или («Гроза»): «Бушуй, бушуй! Ударь в меня, ударь...»

А нередко проскваживают жалобы, что жизнь не оправдала огромности надежд автора. Очень ранние жалобы на ослабление пера, на старость, на семейные неурядицы. «Разрушена души структура...». Даже, кажется, ещё и не выразив свою срединную жизнь, Самойлов уже начал говорить о старости. «Старость — это вселенское горе»; «Хотел бы я не умереть, / А жить в четвёртом измереньи»; «Примеряться к вечным временам / <...> Это всё безмерно трудно нам <...> / Легче, если расстоянье — пядь, / Если мера времени — минута. / Легче жить. Труднее умирать / Почему-то». Иной раз рисуется ему «Прекрасный праздник погребенья». А то, «Рассчитавшись с жаждой и хламом, / Рассчитавшись с верою и храмом, / Жду тебя, прощальная звезда». Вокруг этих постоянных мыслей рождается и «Реанимация» и «Погост», где понята прелесть сельского кладбища. — Но и (рассчитавшись-то с храмом...): «Ты жил, чтоб стать томатной пастой <...> / Теперь тобой заправят плов <...> / И, видимо, живём напрасно. / И, кажется, уйдём в навоз».

Хотя и призывает Самойлов: «Надо хранить всё строже / Золото русской речи», — сам не очень это выполняет. Углубления в собственно русский язык — редки.

светло — <i>сущ.</i>	сверк — <i>сущ.</i>	вся недолга	протяжливо
свѣтла — <i>мн. ч.</i>	недоля	выстрадывать	плачѣя

Запоминается рифма: «Тютчев — невлюбчив».

«Дом-музей» — остроумная пародия. Юмор у него редкий, но тёплый («Старик Державин»).

Еврейская тема — в стихах Самойлова отсутствует полностью. Но и это тоже как бы объясняется — его неизменной одиночностью и сосредоточенностью на себе и на природе. — Не повторяет он и соблазна тех советских авторов, которые, от неопишуемости современности, уходили в историю. Он не уходит, редко мелькнёт «Анна Ярославна», — хорошо и с русским чувством; или короткие этюды о Пушкине. Но «Святогорский монастырь» — не выше политагитки, и о Пугачёве — вовсе ни к чему. И «Стихи о царе Иване» — ни с какою же своей оригинальной мыслью. К русскому фольклору Самойлов

закрыт — а неожиданно, с большой искренностью и натуральностью, выступают у него «Балканские песни». И с признательностью отдаёт он поэтическую благодарность приючившей его Эстонии («Эстимаа» и «Пярнусские элегии»). Но не сочтёшь за удачу «Блок. 1917». Мог Блок промахнуться в момент революции, но стыдно Самойлову в 1970: «...Весёлые бунтовщики <...> / И уходили патрули / Вершить большое дело. / <...> И ангел в небе распевал: / „Да здравствует свобода!“» (Ещё к чему-то приплетены сюда и рождественские волхвы — не в споре ли с Пастернаком?) И «Смерть поэта» (Ахматова) — перезатянута, без исторического чувства, одни умственные усилия.

Итак: всю жизнь, в жажде покоя, остерегался Самойлов печатать стихи с общественным звучанием. Но однажды всё-таки не уберётся, заманчиво — и стезя общественного поэта, и опасно: ударить по «Письму вождям» Солженицына: «Дабы России не остаться / Без колеса и хомута, / Необходимо наше царство / В глухие увести места — / В Сибирь, на Север, на Восток...». Ну, и собрал сколько-то благожелательных хихиканий среди московских образованцев — впрочем, не единодушных.

На этом мы бы и расстались с заметками о Д. Самойлове, если бы в начале 1995, да как раз в те самые дни, когда я кончил вот эти страницы, журнал «Знамя» не захотел бы ещё раз увековечить память поэта, напечатав отрывки из его дневников 70-х годов. Отрывки те — сами напрашиваются в продолжение комментария: они помогают понять и творческую обстановку, и типичный род жизни, и типичную общественную позицию признанного советского поэта.

Что можно было угадать по стихам, то подтверждается и его дневниками. В 55 лет пишет: «Я протискиваю стихи сквозь свою жизнь, как сквозь игольное ушко, и, протащив, устаю и теряю к ним интерес. Потраченное усилие отвращает от совершенства». Часто: «не работается, нужно упорно мобилизовать состояние ума», «никак не засяду за работу», «душевная лень, какой-то темп утрачен», «много пустых дней», «утомительные и бессмысленные дни», «в состоянии апатии и неписания»; несколько раз: «катастрофически не работается», «стихи катастрофически не идут», «к бумаге и к машинке отвращение». То — и целый год не писал. Перечитывая свои стихи после лет: да, недотянутые, вялые, незрелые; и о статье, где его критикуют за недостаток глубины: «нахожу в этой статье резонное». До своих 50 лет «всё удивлялся, что нет признания», потом: «я уже несколько знаменит», «если что-то напишется — достигну громкой славой»; к 60: «слава приятна и немного постыдна»; к концу жизни: «роскошной славой не добился, чего хотел — не создал».

Можно искренно посочувствовать этой душевной ненаполненности, при которой, конечно, ничего значительного не создашь. В чём-то она определяется задатками автора, а дальше всё больше — образом жизни. Та любовь «к вину», которая не раз отразилась в стихах, ещё ярче сквозит через дневник. То «питьё в ЦДЛ», то в баре, то «мирно глотали водку на кухне», то «выпивали с утра до обеда», «на пьянство уходит много сил», «к вечеру жаль потерянный день», вот «быстро напиваюсь, глупею», а всё же, и к концу жизни: «утешиться можно только вином». Да жить «хорошо бы, если б не деньги и не заботы», «нужно думать о деньгах», «жизнь моя сейчас может состоять только в зарабатывании хлеба» (большей частью — переводами), «всё трудней обеспечить семью», «работа не ладится, а деньги нужны», «тяжкие думы о финансовых перспективах», «денег практически нет», вот «маячат деньги», а вот, против желания, даёт газетное интервью «ради благ земных». (Теперь понимаю, почему при единственной нашей с ним беглой, короткой встрече, году в 1971, он меня упрекнул: «Что ж вы против своих?» Я не понял сперва. Оказывается — Авиетта в «Раковом»: что писателям слишком хорошо живётся финансово.) А тут же ещё квартирные заботы: вот, наконец, дали квартиру в городе; вскоре: угроза, что отнимут её «за общение с Сахаровым»; нет, напротив: дали квартиру ещё лучше, в писательском доме. Так будешь осторожен в общественной



жизни: «Интегральное отрицание революции — политическая глупость», «абсолютно честным может быть только деструктор». И пылкому прямодушному В. Корнилову (тот подписал письмо в защиту Л. К. Чуковской): «тебя интересует деструкция жизни, а меня конструкция» (и не подписал защитное письмо, хотя с Л. К. Ч. был весьма близок). И в каком-то ослеплении очень странно толкует «жить не по лжи»: «отдаться нации и перестать быть самим собой? цель — муравьиная»...

Но именно эти-то предосторожности и опустошают душу: «крайнее утомление от людей», «отсутствие интереса ко всему внешнему», «депрессия нравственная, потребность пересмотреть основы жизни». В 55 лет: «10 лет я исследую практику умирания», страх: «что там, за углом?». В 61 год: «никогда не думал, что старость так ужасна», «всё внутренне не ладится, жизнь кажется пустой».

Грустная судьба.

Смутно терзался в неразберихе и хлипкости перестроечных лет, о споре Эйдельмана с Астафьевым высказался так, что «не понравилось московской интеллигенции». А в январе 1990, уже перед самой смертью, записал: «Господи, спаси Россию». (Но — много жил в Эстонии и похоронен там.)

Однако есть и свидетельство помимо дневниковых. В том же начале 1995 издана объёмистая книга Самойлова «Памятные записки» — большей частью биографическая, но также — смесь литературных воспоминаний и эссеистики, с фрагментами размышлений и философских, к которым, как мы видели и по стихам Самойлова, он всегда имел тягу. (Среди них — немало рассуждений обо мне; я на них не отзываюсь.)

На биографии Самойлова тоже характерно прослеживается исторический процесс преобразования российского еврейства. Прадед его в конце XIX в., религиозно непреклонный, весь в Талмуде, до полного равнодушия к окружающей жизни, в 80 лет покинул семью и уехал умирать в Палестину. Затем «фанатические начала передавались в форме особой непреклонности нисходящим коленам», а всё же слабели. Отец писателя не терпел евреев-выкрестов, но и не фанатичен. Самойлов же осуждает выкрестов лишь в том смысле, что их переход слишком поверхностен; даже и шире того, не только о евреях, но и о христианах: «слабые верой приходят к церкви», а вот «терпеть жажду [духовную] могут только сильные», к каким относит он и себя; впрочем: «я не верю в существование русского сионизма». А «современные наши христиане — „крещёные бундовцы”», с опрометчивой снисходительностью судит он. — Из биографии узнаём, что в 1941, в свой 21 год, войну начал с эвакуации в Самарканд, в конце 1942 отправлен на Северо-Западный фронт, рядовым, там ранен в первом же пехотном бою, за госпиталем — полоса тыла, писарь и сотрудник гарнизонной газеты, в начале 1944 по фиктивному «вызову» от своего одноклассника, сына Безыменского (тоже эстафета литературных поколений), и вмешательством Эренбурга направлен в разведотдел 1-го Белорусского фронта, где и стал комиссаром и делопроизводителем разведроты («носил кожаную куртку» — тоже традиционный штрих). — После десятилетней московской литературной жизни (до войны учился в МИФЛИ, в известной «могучей кучке») оценивает свой выбор 70-х годов не влиться в поток еврейской эмиграции — наиболее мужественным выбором: стоять за права и достоинства человека, именно оставаясь в СССР. (Однако по его конфликту с «деструктором» Корниловым мы видели, что гражданского поведения Самойлов по сути не проявил. И считал: это «настоящая чепуха... что бездействующие не смеют оценивать действующих».) Объясняет о себе Самойлов, что «пришёл от литературы к жизни, не наоборот», «ни одна жизненная ситуация не увлекала меня так, как факты литературы», «жизненные факты переживал несколько вяло». Был близок со Слуцким («другом и соперником»), и в таком поэтическом кругу, что и в 40-х и в 50-х годах им «Ахматова и Пастернак казались вчерашним днём литературы».

Столь пристальный к литературным явлениям, Самойлов даёт волю своим обширным оценкам других авторов и, раздаривая эти многочисленные харак-

теристики, как бы спешит заполнить ими литературное пространство. Например о В. Шукшине можем прочесть такое: «злой, завистливый, хитрый [?], не обременённый культурой» (поживи его жизнью), отчего и «не может примкнуть к высшим духовным сферам города». Эх, куда мы махнули в литературной критике! — Однако и в духовно-философской сфере эти эссе не украшают Самойлова: философия — узкая по мысли и очень приспособленная к самооправданию, вроде того вывода, что «эгоизм ведёт к гуманизму». Иногда мелькнут реликты советского мировоззрения: «в советском национализме... есть некоторое положительное начало, доказывающее, что и Россия плывёт туда же, куда и всё человечество»; «нельзя считать марксизм окончательно и бесповоротно утратившим свои позиции». Отрицает, что в 70-е годы коммунизм агрессивно наступал на весь мир, никакой «угрозы» миру от коммунизма не видит. Очень обозлён на русских «почвенников», часто пользуется бессмысленной кличкой «русситы»: они «из города, может быть, из провинциального, захолустного», и именно там они «трагедию [1937 года?] пересидели». (Много же знает Самойлов о трагедии малых городов России за большевицкое время. Сунься-ка туда, «пересиди».) «В 37-м году к власти рванулся хам, уже достаточно к тому времени возросший полународ» (как если б в 20-е «рванулся» не «хам»), и особенно выделяет именно «ответственность за 37-й год» (не сопоставляя с ответственностью за 1929-33), после которого, утверждает, «власть у нас народная» и «народ лучше всего сохранился».

Тщательно обдумывает Самойлов соотношение интеллигенции и народа в России. «Пугачёвщина есть история русского идеализма», «низшая среда... с её низкими нравственными критериями»; «народ, утратив понятия, живёт сейчас инстинктами, в том числе инстинктом свободы». (Вот тут он сильно промахнулся: народ живёт инстинктом устойчивого *порядка* жизни, а инстинктом свободы, «свободы вообще», живёт только интеллигенция, хотя бы эта «свобода» засасывала нас и прямо в анархию.) «Мужик образуется в народ... когда научится уважать духовное начало России, т. е. её интеллигенцию». Обязанность же интеллигенции перед народом: «производить мысли и распространять их»; «никогда её значение не было так велико, назначение так высоко». «Отдавая оценку на волю низшей среды — высшая совершает преступление перед действующей личностью, лишая её нравственных ориентиров», — в данном случае имею в виду я: «Солженицын выразил идеологию, наиболее приемлемую для народа», «идеологию черни». (Только из этих его записок я вспомнил, что году в 1972 я предлагал ему через Л. К. Чуковскую открытую дискуссию в самиздате — от чего он тогда отказался, взамен того накапливал записки для посмертного опубликования.) Длительный срок «почти все интеллигентские группы... не доверяли народной стихии... справедливо опасаясь, что стихия разрушения обрушится прежде всего на них». (Но изредка попадает у него строка и осуждающая презрение интеллигенции к народу.) А «русские евреи... это тип психологии, ветвь русской интеллигенции в одном из наиболее бескорыстных её вариантов».

Коснёмся ещё некоторых мыслей из тех эссе: «Особенность момента в том, что народ перестал быть хранителем нравственного и культурного достоинства нации. Носителем культурного и нравственного потенциала является сейчас интеллигенция». Спросим: когда «сейчас» и какого «момента» особенность? — если *буквально* это, и в этих же выражениях, мы читали в 60-е годы у Г. Померанца? Если ничего не изменилось за 30 лет — то к чему публикуется открытие? Если же изменения от «момента» произошли — то вот бы их и указать? Рядом: «Низшая среда с её низкими нравственными критериями»; «мужик нынешний... спекулировать и шабашить готов и... делать это будет, пока не образуется в народ. А сделается это тогда, когда он», — как мы выше прочли, — «научится уважать... интеллигенцию». (Мимоходом о словечке «шабашить». Столичный интеллигент, служа в любом идеологическом тресте, получал солидную в сравнении с мужиком вознаграждение — и это никогда не называлось «шабашить». Но стоит простолыдину искать заработать что-нибудь

выше колхозных палочек или коммунальному слесарю попросить у хозяина квартиры троячок — это уже «шабашить».) Так вот нынче «духовное начало» в изобилии извергается нам из телевидения — и, кажется, не «мужики» всю эту мерзость совершают. И не они убеждали нас в спасительности гайдаро-чубайсовского грабежа. И не мужики, большей частью, создавали коммерческие банки, гнали миллиарды долларов за границу, а сами — на Канарские острова отдыхать. Так кто же это — *шабашит*? Очень своевременно опубликованы эти итоговые суждения.

А как понять такую фразу: «Победа в Отечественной войне — его [российского утопизма] последняя эпопея». Так понять, что утопизм был — народу собрать свои воистину *последние* силы на безнаградную победу? И дальше — вырождаться до сегодняшнего запустения и презренного передо всем миром состояния? Или — лучше бы поучиться нам эгоизму? «Эгоистическая натура терпима, потому что располагает в реальном мире», «в широком смысле терпимость и гуманизм относятся к сфере эгоистического характера».

«Терпимость» — любимая категория и высшая ценность Самойлова. «На переходе к терпимому обществу мы должны прежде всего научиться уважать любое другое мнение, даже не нравящееся нам».

Дай-то Бог. Всем нам.

